

XX
ВЕК
ЛЮДИ
И СУДЬБЫ

Корней Иванович
ЧУКОВСКИЙ

ДНЕВНИК
1901—1921



Издательство АСТ
Москва 2026

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ч-93

Исключительные права на публикацию книги на русском языке
принадлежат ООО «Издательство АСТ».
Любое использование материала данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается

Составление, подготовка текста и комментарии —
Елена Цезаревна Чуковская

Издательство благодарит наследников К.И. Чуковского
за предоставленные фотографии

Чуковский К. И.

Ч-93 Дневник. 1901–1921 / К. И. Чуковский. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 672 + [32 вкл.] с.: илл. — (XX век. Люди и судьбы).

ISBN 978-5-17-187956-3

Впервые отрывки из дневника Корнея Ивановича Чуковского были опубликованы в 1990 году сначала в «Огоньке», затем в «Новом мире». И уже в 2000-е годы впервые выходит полный текст «Дневника», составленный и подготовленный Еленой Цезаревной Чуковской, внучкой писателя. «Я убеждена, что время должно запечатлеть себя в слове. Таким как есть, со всеми подробностями, даже если это кому-то не нравится», — признавалась в интервью Елена Чуковская. «Дневник» Чуковского — поразительный документ «писателя с глубоким и горьким опытом, остро чувствовавшим всю сложность соотношений», это достоверная историческая и литературная летопись эпохи, охватывающая почти 70 лет с 1901 по 1969 год XX столетия.

В эту книгу включены записи 1901–1921 годов с подробным историко-литературным комментарием, хронографом жизни К.И. Чуковского, аннотированным именным указателем, а также фотографиями оригинального дневника.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-187956-3

© Д. Д. Чуковский, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ДНЕВНИК К. И. ЧУКОВСКОГО	7
ДНЕВНИК 1901–1921	15
1901	15
1902	55
1903	75
1904 Англия.....	78
1905	120
1906	133
1907	153
1908	157
1909	165
1910	172
1911	181
1912	187
1913	195
1914	203
1916	218
1917	221
1918	245
Вот уже 1919 год	257
1920	307
1921	339
КОНСПЕКТЫ ПО ФИЛОСОФИИ (приложение 1)	405
1901	405
1902	456

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ИЗ ЛОНДОНА (приложение 2).....	478
ОТ ПУБЛИКАТОРА	568
КОММЕНТАРИИ.....	573
КРАТКИЙ ХРОНОГРАФ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА К. ЧУКОВСКОГО	620
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	626

ДНЕВНИК К. И. Чуковского

Трудно представить себе, что дневник пишут, думая, что его никто никогда не прочтет. Автор может рассчитывать, что кто-нибудь когда-нибудь разделит его горести и надежды, осудит несправедливость судьбы или оценит счастье удачи. Дневник для себя — это — в конечном счете — все-таки дневник для других.

Я знал Корнея Ивановича Чуковского, любил и ценил его, восхищался его разносторонним дарованием, был от души благодарен ему за то, что он с вниманием относился к моей работе. Более того. Он помогал мне советами и поддержкой. Знакомство, правда, долго было поверхностным и углубилось, лишь когда после войны я поселился в Переделкине и стал его соседом.

Могу ли я сказать, что, прочитав его дневник, я встретился с человеком, которого я впервые увидел в 1920 году, когда я был студентом? Нет. Передо мной возникла личность бесконечно более сложная. Переломанная юность. Поразительная воля. Беспрецедентное стремление к заранее намеченной цели. Искусство жить в сложнейших обстоятельствах, в удушающей общественной атмосфере. Вот каким предстал передо мною этот человек, подобного которому я не встречал в моей долгой жизни. И любая из этих черт обладала удивительной способностью превращения, маскировки, умением меняться, оставаясь самой собой.

Он — не Корней Чуковский. Он Николай Корнейчуков, сын человека, которого он никогда не знал и который никогда не интересовался его существованием. Вот что он пишет о своей юности в дневнике:

«... А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их *не читал*. Страшно было увидеть глазами эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси-сестры, лучшей ученицы нашей епархиальной школы, в этом аттестате написано: дочь крестьянки Мария (без отчества) Корнейчукова — оказала отличные успехи. Я и сейчас помню, что это отсутствие отчества сделало

ту строчку, где вписывается имя и звание ученицы, короче, чем ей полагалось, чем было у других, — и это пронзило меня стыдом. “Мы — не как все люди, мы хуже, мы самые низкие” — и, когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Эта тогдашняя ложь, эта путаница — и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было, — я вижу: это письмо незаконнорожденного, “байструка”. Все мои письма (за исключением некоторых писем к жене), все письма ко всем — фальшивы, фальцетны, неискренни — именно от этого. Раздребезжилась моя “честность с собою” еще в молодости. Особенно мучительно было мне в 16–17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил всех даже при первом знакомстве — уже усатый — “зовите меня просто Колей”, “а я Коля” и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь — никогда не показывать людям себя — отсюда, отсюда пошло все остальное. Это я понял только теперь».

Что же представляют собой эти дневники, которые будущий К. Чуковский вел всю жизнь, начиная с 13 лет? Это не воспоминания. Горькие признания, подобные приведенному выше, почти не встречаются в этих записях, то небрежно кратких, то подробных, когда Чуковский встречался с поразившим его явлением или человеком. Корней Иванович написал две мемуарно-художественные книги, в которых рассказал об И. Е. Репине, В. Г. Короленко, Л. Н. Андрееве, А. Н. Толстом, А. И. Куприне, А. М. Горьком, В. Я. Брюсове, В. В. Маяковском. В дневнике часто встречаются эти — и множество других — имен, но это не воспоминания, а встречи. И каждая встреча написана по живым следам, каждая сохранила свежесть впечатления. Может быть, именно это слово больше всего подходит к жанру книги, если вообще осмелиться воспользоваться этим термином по отношению к дневнику Корнея Ивановича, который бесконечно далек от любого жанра. Читаешь его, и перед глазами встает беспокойная, беспорядочная, необычайно плодотворная жизнь нашей литературы первой трети двадцатого века. Характерно, что она оживает как бы сама по себе, без того общественного фона, который трагически изменился к концу двадцатых годов. Но, может быть, тем и ценнее (я бы даже сказал — бесценнее) этот дневник, что он состоит из бесчисленного множества фактов, которые говорят сами за себя. Эти факты — вспомним

Герцена — борьба лица с государством. Революция широко распахнула ворота свободной инициативе в развитии культуры, открытости мнений, но распахнула ненадолго, лишь на несколько лет.

Примеров бесчисленное множество, но я приведу лишь один. Еще в 1912 году граф Зубов отдал свой дворец на Исаакиевской площади организованному им Институту искусств. После революции по его инициативе были созданы курсы искусствоведения, и вся организация в целом (которой руководили и из которой вышли ученые мирового значения) процветала до 1929 года. «Лицо», отражая бесчисленные атаки всяких РАППов и ЛАППов, «боролось против государства» самым фактом своего существования. Но долго ли могла сопротивляться воскрешенная революцией мысль против набравшей силу «черни», которую заклеил в предсмертной пушкинской речи Блок.

Дневник пестрит упоминаниями об отчаянной борьбе с цензурой, которая время от времени запрещала — трудно поверить — «Крокодила», «Муху-Цокотуху», и теперь только в страшном сне могут присниться доводы, по которым ошалевшие от самовластия чиновники их запрещали. «Запретили в “Мойдодыре” слова “Боже, Боже” — ездил объясняться в цензуре». Таких примеров — сотни. Это продолжалось долго, годами. Уже давно Корней Иванович был признан классиком детской литературы, уже давно его сказки украшали жизнь миллионов и миллионов детей, уже давно иные «афоризмы» стали пословицами, вошли в разговорный язык, а преследование продолжалось. Когда — уже в сороковых годах — был написан «Бибигон», его немедленно запретили, и Корней Иванович попросил меня поехать к некой Мишковой, первому секретарю ЦК комсомола, и румяная девица (или дама), способная, кажется, только танцевать с платочком в каком-нибудь провинциальном ансамбле, благосклонно выслушала нас — и не разрешила.

Впрочем, запрещались не только сказки. Выбрасывались целые страницы из статей и книг.

Всю жизнь он работал, не пропускал ни одного дня. Первооткрыватель новой детской литературы, оригинальный поэт, создатель учения о детском языке, критик, обладавший тонким, «безусловным» вкусом, он был живым воплощением развивающейся литературы. Он оценивал каждый день: что сделано? Мало, мало! Он писал: «О, какой труд — ничего не делать». И в его долгой жизни светлым видением встает не молодость, а старость. Ему всегда мешали. Не только цензура. «Страшно чувствую свою неприкаянность. Я — без гнезда, без друзей, без своих

Корней Чуковский

и чужих. Вначале эта позиция казалась мне победной, а сейчас она означает только сиротство и тоску. В журналах и газетах — везде меня бранят, как чужого. И мне не больно, что бранят, а больно, что чужой».

Бессонница преследует его с детства. «Пишу два раза в неделю, остальное съедает бессонница». Кто не знает пушкинских стихов о бессоннице:

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.

Этот смысл годами пытался найти Чуковский.

«В неспанье ужасно то, что остаешься в собственном обществе дольше, чем тебе это надо. Страшно надоедаешь себе — и отсюда тяга к смерти: задушить этого постылого собеседника, затуманить, погасить. Страшно жаждешь погашения этого я. У меня этой ночью дошло до отчаяния. Неужели я так-таки никогда не кончусь? Ложись на подушку, задремываешь, но не до конца, еще бы какой-то кусочек — и ты был бы весь в бессознательном, но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность: “сплю я или не сплю? засну или не засну?”, шпионишь за вот этим маленьким кусочком, и именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаком по черепу! Бил до синяков — дурацкий череп, переменить бы — о! о! о!..»

Легко рассказать об этой книге, как о портретной галерее. Читатель встретит в ней портреты Горького, Блока, Сологуба, Замятина, А. Толстого, Репина, Маяковского — я не перечислил и пятой части портретов. Одни выписаны подробно — Репин, Горький, — другие бегло. Но и те, и другие с безошибочной меткостью. И эта меткость — не визуальная, хотя внешность, походка, манера говорить, манера держаться — ничего не упущено в любом оживающем перед вами портрете. Это — меткость психологическая, таинственно связанная с оценкой положения в литературном кругу. Впрочем, почему таинственная?

Чуковский умел соединять свой абсолютный литературный вкус с умением взглянуть на весь литературный круг одним взглядом — и за этим соединением вставал психологический портрет любого художника или писателя, тесно связанный с его жизненной задачей.

Но все это лишь один, и, в сущности, поверхностный, взгляд, который возможен, чтобы представить читателю эту книгу. Сложнее

и результативнее другой. Не портреты, сколько бы они ни поражали своей свежестью и новизной, интересны и характерны для этого дневника. Все они представляют лишь фрагменты портрета самого автора — его надежд, его «болеи и обид», его на первый взгляд счастливой, а на деле трагической жизни.

Я уже упоминал, что ему мешали. Это сказано приблизительно, бледно, неточно. Евгений Шварц написал о нем осуждающую статью «Белый волк» — Чуковский рано поседел. Но для того, чтобы действовать в литературе, и надо было стать волком. Но что-то я не слышал, чтобы волки плакали. А Корней Иванович часто плачет — и насдине, и на людях. Что-то я не слышал, чтобы волки бросались на помощь беспомощным больным старушкам или делились последней пятеркой с голодающим литератором. И чтобы волки постоянно о ком-то заботились, кому-то помогали.

Уезжая из Кисловодска, он записывает: «...Тоска. Здоровья не поправил. ОтбилсЯ от работы. Потерял последние остатки самоуважения и воли. Мне пятьдесят лет, а мысли мои мелки и ничтожны. Горе (смерть маленькой дочки Мурочки. — В. К.) не возвысило меня, а еще сильнее измелъчило. Я неудачник, банкрот. После 30 лет каторжной литературной работы — я без гроша денег, без имени, “начинающий автор”. Не сплю от тоски. Вчера был на детской площадке — единственный радостный момент моей кисловодской жизни. Ребята радушны, доверчивы, обнимали меня, тормошили, представляли мне шарады, дарили мне цветы, а мне все казалось, что они принимают меня за кого-то другого». Последняя фраза знаменательна. Чувство двойственности сопровождало его всю жизнь. Он находит его не только у себя, но и у других. Недаром из многочисленных разговоров с Горьким он выделяет его ошеломляющее признание: «Я ведь и в самом деле часто бываю двойствен. Никогда прежде я не лукавил, а теперь с новой властью приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя».

Проходит немного лет, и эту вынужденную двойственность он находит в поведении и в произведениях Михаила Слонимского: «Вчера был у меня Слонимский. Его “Средний проспект” разрешен. Но рассказывает страшные вещи». Слонимский рассказал о том, как цензура задержала, а потом разрешила «Записки поэта» Сельвинского и книгу Грабаря. «В конце концов задерживают не так уж и много, но сколько изматывают нервов, пока выпустят. А задерживают немного, потому что мы все так развратились, так “приспособились”, что уже не способны

написать что-нибудь неказенное, искреннее. Я, — говорил Миша, — сейчас пишу одну вещь — нецензурную, которая так и пролежит в столе, а другую для печати — преплохую». На других страницах своих записок Корней Иванович рассказывает о множестве других бессмысленных решений ужесточающейся с каждым годом цензуры.

Но дальше этого профессионального недовольства одним из институтов Советской власти он не идет. И даже этот разговор кончается сентенцией, рассчитанной на то, что ее прочтут чужие глаза: «Поговорив на эти темы, мы все же решили, что мы советские писатели, так как мы легко можем представить себе такой советский строй, где никаких этих тягот нет, и даже больше: мы уверены, что именно при советском строе удастся их преодолеть».

Только страх мог продиктовать в тридцатых годах такую верно-подданническую фразу. Она объясняет многое. Она объясняет, например, тот поразительный факт, что в дневнике, который писался для себя (и, кажется, только для себя), нет ни одного упоминания об арестах, о процессах, о неслыханных насилиях, которым подвергалась страна. Кажется, что все интересы Корнея Ивановича ограничивались только литературными делами. В этом есть известное достоинство: перед нами возникает огромный, сложный, противоречивый мир, в котором действуют многочисленные развивающиеся, сталкивающиеся таланты. Но общественный фон, на котором они действуют, отсутствует. Литература — зеркало общества. Десятилетиями она была в Советском Союзе кривым зеркалом, а о том, что сделало ее кривым зеркалом, упоминать было не просто опасно, но смертельно опасно. Невозможно предположить, что Корнея Ивановича, с его проницательностью, с его талантом мгновенно «постигать» собеседника, с его фантастической преданностью делу литературы, не интересовало то, что происходило за пределами ее существования. Без сомнения, это была притворная слепота, вынужденная террором.

И кто знает, может быть, не так часто терзала бы его бессонница, если бы он не боялся увидеть во сне то, что окружало его наяву.

Я не надеюсь, что мне удалось рассказать об этой книге так, чтобы читатель мог оценить ее уникальность. Но, заранее сознавая в своей неудаче, я считаю своим долгом хоть кратко перечислить то, что ему предстоит узнать.

Он увидит Репина, в котором великий художник соединялся с суэтливым, мелко честолюбивым и, в сущности, незначительным человеком.

Он увидит Бродского, который торговал портретами Ленина, подписывая своим именем холсты своих учеников. Он увидит трагическую фигуру Блока, написанную с поражающей силой, точностью и любовью, — история символизма заполнена теперь новыми неизвестными фактами, спор между символистами и акмеистами представлен «весомо и зримо».

Он познакомится с малоизвестным периодом жизни Горького в начале двадцатых годов, когда большевиков он называл «они», когда казалось, что его беспримерная по светлому разуму и поражающей энергии деятельность направлена против «них».

Меткий портрет Кони сменяется не менее метким портретом Ахматовой — все это отнюдь не «одномоментно», а на протяжении лет.

Я знал Тынянова, казалось бы, как самого себя, но даже мне никогда не приходило в голову, что он «поднимает нравственную атмосферу всюду, где он находится».

Я был близким другом Зощенко, но никогда не слышал, чтобы он так много и с такой охотой говорил о себе. Напротив, он всегда казался мне молчаливым.

О Маяковском обычно писали остро, и это естественно: он сам был человеком режущим, острым. Чуковский написал о нем с отцовской любовью.

Ни малейшего пристрастия не чувствуется в его отношении к собственным детям. «Коля — недумающий эгоист. Лида — врожденная гуманистка».

Не пропускающий ни одной мелочи, беспощадный и беспристрастный взгляд устремлен на фигуры А. Толстого, Айхенвальда, Волошина, Замятина, Гумилева, Мережковского, Лернера. Но самый острый и беспристрастный, без сомнения, — на самого себя. «Диккенсовский герой», «сидящий во мне авантюрист», «мутная жизнь», «я и сам стараюсь понравиться себе, а не публике». О притворстве: «это я умею», «жажда любить себя».

Дневник публикуется с того времени, когда Чуковскому было 19 лет, но, судя по первой странице, он был начат, по-видимому, значительно раньше¹. И тогда же начинается этот суровый самоанализ.

¹ Предисловие В. Каверина было написано для первого, сокращенного, издания Дневника. Оказалось, как это видно из настоящего полного издания, что уцелело и несколько более ранних записей. — Здесь и далее подстрочные примечания и переводы иностранных слов и выражений сделаны составителем. — Е. Ч.

Корней Чуковский

Еще одна черта должна быть отмечена на этих страницах. Я сравнительно поздний современник Чуковского — я только что взял в руки перо, когда он был уже заметным критиком и основателем новой детской поэзии. В огромности тогдашней литературы я был слепым самовлюбленным мальчиком, а он — писателем с глубоким и горьким опытом, остро чувствовавшим всю сложность соотношений. Нигде я не встречал записанных им, поражающих своей неожиданностью, воспоминаний Горького о Толстом. Нигде не встречал таких трогательных, хватающих за сердце строк — панихида по Блоку. Такой тонкой характеристики Ахматовой. Такого меткого, уничтожающего удара по Мережковскому — «бойкий богоносец». Такой бесстрастной и презрительной оценки А. Толстого — впрочем, его далеко опередил в этом отношении Бунин. А Сологуб с его доведенным до культа эгоцентризмом! А П. Е. Щеголев с его цинизмом, перед которым у любого порядочного человека опускались руки!

Еще одно — последнее — замечание. Дневники Чуковского — глубоко поучительная книга. Многое в ней показано в отраженном свете — совесть и страх встают перед нами в неожиданном сочетании. Но, кажется, невозможно быть более тесно, чем она, связанной с историей нашей литературной жизни. Подобные книги в этой истории — не новость. Вспомним Ф. Вигеля, Никитенко. Но в сравнении с записками Чуковского, от которых трудно оторваться, — это вялые, растянутые, интересные только для историков литературы книги. Дневники Корнея Ивановича одиноко и решительно и открыто направляют русскую мемуарную прозу по новому пути.

26/VI.88
В. Каверин

ДНЕВНИК

1901—1921

1901

24 февраля, вечер в Субботу (большой буквой). Странно! Не первый год пишу я дневник, привык и к его свободной форме, и к его непринужденному содержанию, легкому, пестрому, капризному, — не одна сотня листов уже исписана мною, но теперь, вновь возобновляя это занятие, я чувствую какую-то робость. Прежде, записывая веденье дневника, я улавливался с собою: он будет глуп, будет легкомыслен, будет сух, он нисколько не отразит меня — моих настроений и дум — пусть! Ничего! Когда перо мое не умело рельефно и кратко схватить туманную мысль мою, которую я через секунду после возникновения не умел понять сам и отражал на бумаге только какие-то общие места, я не особенно пенял на него, и, кроме легкой досады, не испытывал ничего. Но теперь... теперь я уже *заранее* стыжусь каждого своего неуклюжего выражения, каждого сентиментального порыва, лишнего восклицательного знака, стыжусь этой неталантливой небрежности, этой неискренности, которая проявляется в дневнике больше всего, — стыжусь перед нею, перед Машей. Дневника я этого ей не покажу ни за что, — и все же она, которая всюду ходит за мною, которая проникает меня всего насквозь, она, для которой я делаю все это — моя милая, томная, жгучая, неприступная, — она и т. д.

Боже мой, какая риторика! Ну разве можно кому-нибудь показать это? Подумали бы, что я завидую славе Карамзина. Ведь только я один, припомнив свои теперешние настроения, сумею потом, читая это, влить в эту риторику опять кусок своей души, сделать ее опять для